

Оглавление

КУКЛА	5
ВЫВОРОТЕНЬ.....	23
ДЕВИЧЬЯ ДОЛЯ	60
ТЁМНЫЙ ПУТЬ	95
РАЗВИЛКА.....	121
ЗОВ КРОВИ	142
ДРУЗЬЯ	161
РЕШЕНИЕ.....	187
БЕСПУТИЦА	239
ПРОЩЕНИЕ.....	261
ЖЕРТВА. ПРЕДЭПИЛОГ	284
ЭПИЛОГ	302

КУКЛА

Мать злобно кричала на Прошу. Голос её, обычно красивый, певучий, звучал надрывно. Она старалась ругаться будто украдкой, упругим шепотком, но даже из-за ворот, слезая с коня, Фёдор слышал в нём сдавленное отчаяние.

— Я говорила тебе ничего не брать. Просила тебя, умоляла. Не подходи к Ульяне, к соседу Ефиму не подходи. Плохие они люди!

В ответ слышались лишь тихие всхлипы и шмыгание носом.

Мать, Домна Егоровна, слыла хозяйкой сильной хватки, веского слова. Но она не всегда такой была — к этому привела горькая судьба, овдовела Домна рано, осталась с сыновьями. И взвалила на себя и дело мужа почившего, и заботу о пострелятах. От такого и голубица белая остроокой соколицей станет. Слыхал Фёдор, шептались в селе, что при муже была Домна нежна, домовита, куховарила да вышивала. А как муж преставился, так пришлось ей мужицкую долю на себя примерить да с ней срастись. Пока старшой сын не возмужал, снял хоть сколько-то обузы с материных плеч.



Но к сыновьям вдовица всегда относилась с нежностью, глядела ласково, редко говорила что недоброе, если только уж совсем кто-то из них, особенно младший, разнуздывался. Да вот только Фёдору особо уже и не скажешь ничего, да и нечего — заменял он старшего в семье. Всё на нём, и земля, и дело семейное: хлеб растить, собирать, молотить. Нравом он всегда смирен, да очень скрытен и замкнут, будто на замок кто его запер.

Батюшка покойный был человек железный, наймиты его слушались: за делом следил в оба, у такого не забалуешь. А вот лишнего слова тоже не вытянешь, разве что глянет очами серо-грозовыми, так и сам умолкнешь. Только пойдёшь смирно выполнять то, что велено. Вот жену свою Домнушку любил пуще самой жизни. Лишь она могла смягчить норов его, стоило ей только головой покачать да посмотреть печально — так и угасал весь пыл, мерк.

А вот младший сынок, Прохор, тот озорной, ветер в голове свищет. Насколько разные уродились сыновья! В одно ухо Прошки ветер влетал, в другое вылетал, ни одного следочка не оставлял. Уж такой он, Проша, сколь ни бейся. Мать и плакала, и бранилась, и наказывала — да только всё одно. Коль что втемяшилось мальцу, так не выколотишь.

Вот и сейчас Фёдор поспешил открыть ворота, быстрым шагом пересёк двор. Надо братца выручать. Не впервой это, справимся как-нибудь.

Впереди мелькнул вышитый платок, хлопнула дверь. И то верно, нечего наймитам слушать. Потом



вся Степановка будет судачить, сколь неслушен малец Прошка, как не справляется с ним Домна. Что и замуж могла бы выйти второй раз — без отца вырастет Прошка бестолочью. Заметил Фёдор, как любопытные очи зыркнули со стороны огорода, где трудилась на грядках малолетняя девка, что нанялась в помощь. Должна капусту обихаживать, а сама уши греет. Вот точно завтра всё село знать будет, что отругала Домна Егоровна сына своего младшего, вот уж кто досада да заноза. Отвела б уже к бабке какой, отчитала бы та, ибо совсем от рук отбился пострел. Небось бес в нём мелкий сидит, мальчика на шалости да грех подбивает. У всех вон мальцы как мальцы, могут и пакость какую от глупости сделать, и удрать куда не надо, и стащить чего. А Проша Домнин давно уже стал притчей во языцех.

Ух, чего только не слышал Фёдор, каких только шепотков да сплетен о семействе их не заводили, да всё почти о Проше. Да ведь неплохой он, добрый. Только глупый. О самой Домне судачили реже — побаивались её, уважали. Знали, что коль другая какая баба вот так бы одна осталась, так сразу бы замуж выскочила, хоть за кого. Тяжко одной, страшно. А Домна не спужалась, выстояла. Да и характер как закалила!

А сейчас мать сидела на скамье, перед ней на старом дырявом платке лежала кукла. Соломенная, глазки — две угольные точки. Перепоясана алой ниточкой витой. Видал много раз такие куклы Фёдор: девочки малые играли с ними, наряжали да личики углём раскрашивали. Ягоды рябины на нитки нанизывали, дела-



ли куклам своим бусы. Да каждая баба умеет подобную куклу сшить. Обычная кукла, чего голосить-то?

Из угла глядел зарёванный Проша глазами тоскливыми, так и молил — «выручай!». Одно ухо алее другого. Оттаскала мать, что бывало с ней нечасто. Значит, уже совсем довёл сын до белого каления. Домна была не из тех матерей, что чуть что отвешивали подзатыльники или брались за розгу, оттого Фёдор ещё сильнее удивился.

При виде него мать всплеснула руками, ткнула пальцем в куклу:

— Ульяна дала. Сколько раз говорила ему, не ходи ты к ней, чего прилип? А он заладил: «Добрая она, хорошая, пряники всегда даёт». Нельзя к Ульяне ходить! Увидал её — так беги! Что тебе, пряников не приносит никто? Прям изголодался весь, бедный!

Проша всхлипнул, затёр кулачком глаз:

— Она всегда останавливается... Говорит ласково... Красивая она... Почему нельзя-то?

Топнул ногой, выбежал в спальню. Только занавеска дёрнулась, мякнула половица.

Домна вздохнула, прикрыла глаза. Могла перед сыном и слабость показать, и пожаловаться. Это перед другими она голову высоко держала, очами ледяными поводила. И только сыновья знали, что теплы её очи да добры.

— Ну хоть ты поговори с ним, ну опасно это. Дурная девка эта, Ульяна. Хорошую себе подружку



нашё! Неспроста она Прошку привечает, помни моё слово!

Встала резко, подхватила куклу, в тряпицу обернула, пальцами не касаясь, будто мерзость какую держала в руках. Вышла. Слышно было, как брякнула печеная заслонка. Бросила мать куклу в печь, не пожалела подарка.

Фёдор уже видывал, что, как шла Ульяна, соседка Ефима Григорича дочь, по улице, так Проша сразу от ватаги ребят отделялся, бежал к ней. Она останавливалась, могла даже по голове того погладить, дать чего вкусного или игрушку какую. Всё интересно было Фёдору — Ульяна уже девка на выданье да ещё неприступная такая, а с малым возится всегда, казалось, и рада ему. Хотя странная она, Ульяна та.

Много сплетен по селу ходило и про отца её, и про саму Ульяну, но Фёдор им не верил. Народу только дай волю, так раздуют небылицу. Взять хоть про их семью даже, что уже только не говорили... И что мать его слишком горделива, а значит, поколдовывает (вот глупости какие! Набожна Домна, за мужа покойного молится ежевечерне). Что Фёдор нелюдим да несговорчив — подменьш небось, родила, видимо, Домна другого сынка. Доброго да светлого, а вот недоглядела — умыкнула нечисть родного, подменьша её оставила. А с чего это Феде сговорчивым быть, коль каждый, хоть купи, хоть продай, надурить хочет? Умел Фёдор слово железно держать, не уломать его, хоть лъсти, хоть угрожай. На кривой козе не подъедешь к нему. И Прошу вон тоже в нечисть записали, толь-



ко нежный он да отзывчивый. Глядишь, не такая уж и плохая та Ульяна, раз Прошка-блешка к ней тянется.

И всё бы людям выдумывать да болтать, языки же без костей, что помело. Помнится, пропал как-то мальчонка в соседнем селе. В нехорошее время пропал — в Русальную неделю. И искать его не стал никто из сельских, хоть мать по избам ходила, чуть ли не в ногах валялась у мужиков — сынка бы найти, уж помогите! А как все отказались да ещё единодушно, сама мать несчастная лес обходила. А сын как в воду канул. И люд рассказывает, что опасно это — искать пропавшего в Русальную неделю. Коль девка пропадёт — утянут её русалки с собой, сестрицей станет утопленникам. А коль парень — так защекочут до смерти. Оттого и не рискнул никто в лес идти, лишь мать искала. Как та неделя миновала — так пришёл малец к себе домой, услышала мать топот босых ножек у ворот ввечеру. Обрадовалась, на руки сынка взяла, в дом занесла. Товаркам всем рассказала о вести доброй, жаловалась только, что не ест сынок, исхудал сильно, кожа да кости. Уже говорили ей — отведи в лес дитя обратно. Не твой то сынок, глупая. Нежить это, погиб твой сын. Но не верила та, озлобилась на селян, ни с кем больше не говорила. Да и сама сохнуть стала: волосы повылезали, посинела ликом, взор помертвел. Была больше не резвая это баба, а старуха седая, еле ноги волокла. Слегла она, и боялись ей даже еду приносить на порог. До того, кто подходил послушать, не представилась ли, доносился лишь топот ножек да смех детский. А потом смельчак один забрался-таки в дом, а поздно стало — померла баба. И похоронили её на перекрестье дорог.



Чтоб не шаталась потом к селянам, что не помогли, не кляла их. А дитя так и вовсе не нашли. Только следы по всему дому от грязных детских ступней, зеленоватые, то ли с тиной засохшей, то ли с водорослями. И всё не высыхали они, будто изнутри влагой сочились.

Но казалось то Фёдору сказом, чтоб детей пугать. Дабы не лезли в трясину, одни далеко в лес не уходили. А что до того, как на самом деле было, небось принёс малой с собой какую хворь лесную или болотную, огневицу-трясовицу. Вот и слегла мать. Да сам от той болезни и помер, в лес в бреду ушёл.

Не верил Фёдор в чертей да русалок. В труд верил, людей хороших. А не в нечисть лесную, кладбищенскую, полевую. Мог, конечно, иногда байки со сказами послушать, чего бы и нет. Но больше то было не чтоб напугаться аль сплетню какую услышать. А чтоб понять, чем люд живёт, во что верит, кроме Христа да Богородицы.

Но вот мать в те рассказы верила. Сызмальства и Фёдору, и Проше накрепко зарубила на носу — ни шагу в лес на Русальной неделе. В день Афиногенов не собирать ягоды да грибы, веток не ломать, валежник не тревожить. А на Воздвижение даже по людной улице ходить надо с опаской — змеи лютуют, коль ужалит тебя гадина в тот день, так сам змеицей обернёшься. Или духом неприкаянным лесным в чащобе останешься навечно. Не будет покоя душе, а всё из-за глупости. Чти дни, что предки наши отметили мудростью своей. Сказали нам, чего опасаться, где не бывать, чего не творить. Всё это веками проверено, слезами отмеряно.



Не по доброй воле через горести пращуры проходили, опыт набирали, да по доброй воле предостерегли.

Верила она и в нечистого. Говорила по ночам на небо не глазеть — ведьму, на шабаш летящую, случайно увидишь, так будет она мстить тебе, дознается путями своими дьявольскими, кто узрел полёт её. Сна лишит, зрения, а то и жизни. Звёзды не считай — коль летавицу, звезду-падалицу, заметишь, так станет она ходить к тебе девоёй волоокой. Силу твою отнимать, сердце мучать. Когда малой был Фёдор, так любил сказы про бравых молодцев, но и страшных не чурался. Слушал вечерами, представлял себе ведьму на помеле, злую, старую, с ликом перекошенным. Да летавицу-девицу, в сапожках алых сафьяновых, с власами долгими золотыми... Как спускается с неба дева та, подходит к двери запертой, стучит звонко: «Тук-тук! Кто тут не спит, на небо глазее? Подь сюды, разговор имеется!». Так и засыпал Фёдор под материны сказы, но были для него кикиморы и ведьмы столь же сказочны, выдуманы, что и Бычок — смоляной бочок да Бова-королевич.

Нашёл Фёдор братца в горнице на лавке. Золотил закатный свет волосики братцевы пшеничные, ресницы пушистые. Сидел тот, насупившись, коленки острые к личику самому подтянул, смотрел волчонком. Вроде и заслужил братец взбучку, а всё равно старшему больно было на слёзки его смотреть, кольнуло сердце. Родных-то у него осталось — мать да братец, только радостными видеть их хотелось, только счастье чтоб на пути их встречалось.



— Чего мать опечалил? Сказала она тебе, не ходи к Ульяне. Пошто приклеился к ней, как банный лист? Чай не подружка, она вон уж девица-невеста.

Проша шмыгнул носом, вытер рукавом нос. За-краснел нос пуще прежнего, будто ягода-малина стал. Не смог Фёдор улыбки сдержать. Вроде и сердиться надо на братца, чтоб понял ошибку свою, чтоб обходил товарку, такую ему неподходящую, десятой дорогой. Но как на него ругаться, как ногами топать? Чудной он, да и не понимает ругани.

— Ульяна хорошая! Мама не знает её, вот и наговаривает. Она мне рада всегда. Игрушку даст или угощение. И сказы говорит, всё про тайны лесные, про птиц-гамаюнов и русалок речных. Матушка таких не сказывает. Она всё про Матью Моревну да про сына Ивана крестьянского. А я про чуды-юды хочу! — Подпрыгнул, впился очами своими синими. — Да и сама Ульяна подходит ко мне. А как не подходит — так манит пальцем. Ну и иду я. А чего мне не идти? Она больше никого не привечает. Оттого ещё дороже мне её дружба.

Фёдор вздохнул, погладил мальчика по волосам. Понятно всё тут — сколь ни говори, опять пойдёт к Ульяне, коль поманит та. Был бы умнее — так хитрил бы, врал матери. А этот всё выдаёт, как на духу. Да и сельские ведь расскажут, мол, с дочкой черно-книжника сынок твой, Домна, знается. Аль заколдовала девка его? Аль сама ты с нечистью знаешься, раз



малец твой с Ульяной лясы точит, подарки принимает. А таких разговоров не любит мать, опасается. Уж если кого окрестят чародеем или ведьмой, так потом ту тёмную славу ещё попробуй искорени.

— Видишь, волнуется матушка за тебя. Не нравится ей сосед наш. Так и не подходи к дочери его. Матушку жалеть надо. Видишь, сколько пало на неё...

Язык уже прикусил, как понял, что лишнего сказал. Пуще прежнего закапали слёзки, ещё сильнее загоревал Проша. Уж больно тосковал по отцу. Да и мать тосковала. Слышал Фёдор, как плакала она ночами иногда, вскакивала и бежала в угол к иконам. Молилась там, всхлипывала до самого рассвета. И Фёдор тоже подчас хотел бы помолиться, только застревали в зубах слова святых молитв, не приносили ему утешения, не тянуло его к покаянию. Оттого даже завидовал слегка матушке — было у неё кому поплакать, с кем поговорить о потаённом да выстраданном.

Притянул младшего к себе Фёдор, уткнулся тот ему в рубаху, засопел и завсхлипывал. Погладил Прошу брат по голове, прижался малец, обнял.

Посидели братья, помолчали. Проша успокоился, посветлел взором.

— А вот мне нельзя с Ульяной говорить даже, а отец её к матушке приходит по вечерам. Вот уже с неделю. Квасу она ему наливает, говорят они долго о чём-то. Значит, не злой он. Раз привечает она его, не прогоняет.



Вздыхнул Фёдор тяжело, посмотрел на братца укоризненно.

— Не всех прогнать можно, Проша. Да и что о нас люди скажут? Что Домна Егоровна соседей не уважает, на порог не пускает, гостям не рада... — попытался объяснить Фёдор братцу ту странность, но и сам подумал: «И правда, а какие это дела могут быть у Ефима в нашем доме? Зачем приходит?»

Проша кивнул, а всё равно видел Фёдор упрямый огонёк в глазах. Схлопочет ещё Проша себе по ушам, да не раз. Было то Фёдору странно — откуда упрямый такой. Фёдор — тот всегда был спокойный, покладистый. Пусть и себе на уме. Если хотел что по-своему сделать, так делал, но мать не злил, отца не расстраивал. Всегда помнил, что и без его злонравства было от чего у матушки сердцу болеть, а у батюшки — голове. А тут всё поперёк да против — ишь, характер какой!

И вот уснули все в доме, огонёк лампы в углу окрасил стены в оттенки зари, а Фёдор всё лежал да думал — отчего это Ефим зачастил? И сам отмечал парень, что приходил гостем незванным, разговоры с матерью вёл, да всё будто ни о чём.

А как появится Фёдор на пороге, так сразу подскакивает с лавки Ефим, будто вот-вот уходит собиравшийся. А коль не пришёл бы Фёдор в ту минуту, так и сидел бы долго ещё? Ставила мать яства на стол, опрашивала гостя вежливо, обихаживала, как и любого другого, кто захаживал. Будь то товарка ейная, соседка аль по делам кто зашёл. Но чуял он, в воздухе самом чуял,



как звенело что-то похожее на страх. Долго ещё он ощущался в сениях, горнице, даже после ухода соседа. Пусть и улыбался он, и гостинцы приносил.

Каждый раз, увидев сына, что являлся внезапно во время приходов Ефима, улыбалась Домна и сыну, и пришельцу. Но подмечал Фёдор, что тревожна она, тёмно лицо её.

* * *

Ефима в селе уважали. И боялись. Уважали потому, что был старосты брат. А то власть, пусть и жил староста далече, к родичу навещался нечасто. Ох приездов тех боялись — у каждого в селе были делишки, коим староста был бы не рад, за что мог взыскать. Да и докладов Ефима боялись. Доверял ему братец, а у Ефима в селе были свои всевидящие очи. Оттого и знал староста подноготную всего села.

А ещё боялись Ефима потому, что был старосты брат колдуном.

И не скрывал он того, будто всем видом своим показывал — се суть моя, путь мой. Глаза у него что угли: черны, холодны, но вот только огонёк в них мерцает. И нельзя глядеть на тот огонёк — будто сила из тебя сразу уходит начинается, кровь тело покидает. Власы длинные носил, за уши заправлял. Кожа белая, как у покойника. Кто-то говорил, что чужд он свету солнечному, потому что божий тот свет, чистый. А кожа Ефима столь нечиста, что не целуют её лучи. Потому и выглядит, будто помер дня три назад. Видели его много раз порой ночью на местном пого-



сте, и в лесу встречали, но знал люд, что лучше всего закрыть рот и очи и бежать прочь, молиться, чтоб не приметил тебя колдун, взором огненным не опалил. А кто говорил о том, что видел, слышал, чувствовал, с тем потом несчастье случалось — корова падёт, крышу проломит от лёгкого ветерка, куры заболеют. А то и с самим что похуже станет.

Случай был: ходила девка козу искать, что с колышка оторвалась, заблукала. Знала девка — выпорот отец, коль коза пропадёт, оттого обошла лесную опушку, овраги излазила, но не было нигде козы несчастной, будто сквозь землю провалилась. Уже думала она, задрал кто её в чащобе, самой страшно стало — оно лучше отцом выпоротой быть, чем зверем диким утащенной. Коль сгинешь в лесу, так это и упырихой стать можно, или лесным духом, что сбивает путников с пути, над болотцами лесными огоньками жёлтыми плавёт, светит. Приснула девка из леса на дорогу, очень не хотелось нежитью стать. Да к погосту и вышла. Свечерело давненько, солнце закатилось, затопила предночная синева православные кресты, ограду невысокую. И вдруг — глядь! — забелело что-то впереди. Девка было ринулась прочь, а пригляделась. Ба, так вот она, коза-то! Небось ушла крапиву кладбищенскую жевать — хороша там крапива, высока да сочна, на косточках людских выросла. Перекрестилась несчастная, пошла между могилок вперёд, к козе окаянной. Было схватила ту за обрывок верёвки, но как зашевелилось что-то тёмное чуть ли не под ногами. Высветил лукавый лунный луч лицо узкое, бледное — Ефим то Григорич на могиле сидит, слова



шепчет! Мешочек в руках, перебирает он что-то белое, наверное, костки чьи-то... Как дёрнула девка козу за верёвку, как побежала с ней, дороги не разбирая... Так только дома и выдохнула. И ей, бедовой, молчать бы о том, что страсти повидала, кого на погосте встретила. Но растрепала об увиденном матери, а мать утречком у колодца новость растрезвонила по товаркам. А те уже додумывать начали: у одной Ефим мертвяка ел, у другой — упокойника выкапывал, а был тем упокойником загулявший муж соседки Макаровны, вот те крест. А у третьей — песни похабные у креста распевал. К вечеру и не знал люд, кому верить, был ли Ефим на погосте вообще, что делал. А как луна над лесом взошла, так вспыхнула изба девки той да семейства её, будто кто лучину поднёс к стогу сена. Еле выбежали они, чудом спаслись. С тех пор мало кто отваживался про Ефима сплетни распускать. Про Ульяну разве что девицы завистливые могли чего между собой посудачить, да только тут же языки и прикусывали. Вроде и есть завидовать чему — отец наряжает да работой не донимает, подарки возит, глядит ласково. Но кого спроси, готова ли судьбиной с дочкой колдуна поменяться, так, поди, перекрестятся да чура поминать начнут со страху. И счастливой Ульяна не выглядела — столь же бледна, как и отец, молчалива. Коль у Ефима взор — угли да полымя, так у Ульяны — полынья январская, в коей любой огонь потухнет.

Ефим с сельскими не водился, будто и не было их. И даже для виду в церковь не ходил, хоть даже местные ведьмы во храм хаживали. Были дни, когда ведьмам это можно, пусть и диаволовы прислужницы,

